



КАЗЕННЫЙ
ДОМ

анастасия муравьева

18+

Анастасия Муравьева

Казенный дом

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63612532

SelfPub; 2020

Аннотация

У гадалки отобрали все, кроме колоды карт, и, начиная роман с женатым, она знала, чем все закончится...

Анастасия Муравьева

Казенный дом

Я лежу на койке в тюремной больнице и перевожу взгляд со стен на решетчатую лампочку под потолком. Она бьется там, в своей одиночке, как бабочка, расплываясь маслянистым пятном, когда я зажимаю глаза.

Устав от лампочки, я начинаю смотреть в окно, за решеткой видны деревья, ветви и прутья сплелись, как перепуталось все в жизни – моей и здешних постояльцев, без картинок не разгадаешь. А я как раз гадалка. Я заслоняюсь рукавом от желтого пронзительного света лампочки, чтобы не бил в глаза. На мне серая рубаха с завязками на горле от шеи до пят, мы тут все ходим в таких, похожие на привидения, когда, шаркая ногами, бредем утром по коридору. Здесь все, даже тяжелые, стараются доползти к окошку раздачи, ведь лежачим достаются такие объедки, что и собаке выбросить совестно.

Хотя зеркал нам не положено, я хорошо знаю, как выгляжу – в больничной робе, коротконогая, стриженная, шишковатые ступни в разношенных тапках, только, пожалуй, кандалов не хватает. Самой смешно от картин, которые рисует воображение, я вообще любительница пошутить, даже в тюремной больнице, скорбном месте, у меня рот до ушей хоть завязочки пришей. Вот и сейчас я растягиваю щербатый рот,

глаза пропадают в морщинистых складках, как у ящерицы, должно быть, отвратительное зрелище.

В столовой я сажусь рядом с такой же молчаливой узницей. Хотя разговоры строго запрещены, мы могли бы перемолвиться словечком, но молчим. Молчим не потому, что боимся наказания, нам просто не о чем говорить. Глупо строить планы побега, когда мы едва не ходим под себя. Я вот еле бреду по коридору, держась за стену, какой там побег.

Стена – настоящая предательница, в любой момент может подвести. «Как за каменной стеной», так ведь говорят? Неправда! Стена может резко уйти из-под рук, взвиться, как норовистая лошадь, и я, потеряв опору, начну беспомощно молотить руками воздух, а потом рухну навзничь. Ко мне подбежит медсестра, гремя каталкой, меня поднимут, чертыхаясь, потому что я все-таки не пушинка, погрузят на каталку и повезут в процедурную. Там мне в вену воткнут катетер, а я буду знать, куда воткнуть взгляд. В тюремной больнице я поняла, какой легкой становится жизнь, когда есть куда деть глаза. Я с облегчением отвожу взгляд от окна, устав следить за тем, как дождевые капли виснут на прутьях решетки. Теперь я смотрю, как капли стекают и собираются у меня под кожей.

На моей койке гора подушек, это знак особой касты, остальные довольствуются жидкими тюфячками. Я опять улыбаюсь, до чего смешлива стала, перед смертью, не ина-

че. Я закашливаюсь, лезу рукой под подушку, чтобы достать платок, и нащупываю колоду карт. Как я уже говорила, я гадалка. Колода самодельная, конечно, все карты я нарисовала сама. Я закрываю глаза, капли как шары в бильярдной лузе скользят и падают мне в вену.

Мама умерла зимой, сразу после Нового года. В тот день я вбежала в комнату, смеясь во все горло, глаза как звездочки, шарф размотался, шапка сползла на ухо, за мной летел искристый морозец. Соседка схватила меня за руку, утянув к себе.

– Где мама? – звонко выкрикнула я.

– Маму боженька забрал, – прошептала соседка, приложив палец к губам, и я, распахнув глаза, в недоумении уставилась на нее. Кто мог забрать маму? Только папа. Она его так ждала, еще с лета, как перестала вставать. Я кормила ее с ложечки, усевшись рядом на высокий табурет. Мама ела совсем мало, каждый глоток давался с трудом, ей больше нравилось мечтать, как приедет папа и заберет нас отсюда.

Над ее кроватью была приколотая картинка из журнала «Огонек»: летчик в шлеме, взмахнувший рукой на фоне самолета, я улыбалась ему в ответ. Я думала, что Боженька не хуже папы, он веселый, добрый, живет где-то на небе и тоже машет с облака.

Когда на следующий день маму увезли, я осталась одна в комнате. Шторы сорвали, чтобы повесить зеркало, и в окно слепяще било зимнее солнце. Все наши вещи увязали в уз-

лы, я сидела на голой панцирной сетке кровати, потому что мне велели: «Жди». Вот-вот должна была приехать моя тет-ка, которой негде жить, а наша комната лучше, чем нечего, как сказали мне соседки.

Тетка пришла, одетая по городскому, в пальто и ботиках, не скажешь по виду, что бездомная, на плечах лисий ворот-ник. А я так и сидела на кровати со снятым матрасом, ко-гда соседка ввела ее в комнату, распахнув двери, и указа-ла на меня: «Вот дочка Натальина». Тетка промокнула глаза платком и взглянула на меня неприязненно поверх лисы.

– Она девочка хорошая, послушная, – соседка заюлила пе-ред вошедшей. – А уж какая веселая, все смеется, хохотуш-ка. И по хозяйству все сделает, подметет и приготовит, жал-ко такую в детдом.

– Ты в школу ходишь? – спросила тетка.

– В первый класс, – гордо ответила я, уже начиная болтать ногами и корчить рожицы, это я любила, жаль зеркало заве-шано тряпкой. Но тетка уже не смотрела на меня, она огля-дывала стены, думая, как разместится тут с мужем и сыном.

Солнце расчертило квадратики от оконных рам на полу и я, соскочив на пол, принялась прыгать по ним на одной ножке. Соседка, проходя мимо распахнутой двери, остано-вилась и укоризненно покачала головой, видя, как я весело скачу, а тетка, не сняв пальто, сидит на кровати среди узлов.

От этой картины, возникшей в памяти, я слабо улыбаюсь, мне давно не хватает сил расхохотаться звонко, как в дет-

стве. Тогда смех рвался из меня, и ничему не удавалось перекрыть этот поток. Теперь мой смех больше похож на клекот, он слипся в комок, мешая дышать.

Тетка привела мужа и сына, которые ждали на вокзале, им действительно было некуда идти. Они ввалились, неуклюжие, вымокшие под дождем, как бездомные зверюшки из сказки «Теремок», и сразу начали распорядиться в моей комнате. Я весело наблюдала, как они суетились, наводя порядок, выбивали половики, развешивали найденный в комодке тюль. Они даже успели поругаться, решая, кто где ляжет, перестилая кровати, делили полки в шкафу, теткин сынок стоял, прижав к груди глобус, не зная, куда его поставить.

К вечеру они, наконец, уgomонились. Тетка, устало опустившись на табурет, сказала сыну: «Вот здесь ты будешь заниматься», и развернула мой стол так, чтобы свет падал слева.

– А вот здесь будешь спать! – довольно жмурясь, добавила тетка, указав на мою кровать. Мальчик кивнул. Теткин муж повесил штору, разделившую комнату надвое, и торжественно раздвинул ее, как занавес в театре. За шторой оказалась кровать, бывшая мамина, только с двумя подушками.

– Как хорошо! – тетка всплеснула руками, радостно оглядывая новое жилье. — Давайте чаю попьем! Несите чайник!

Я схватила чайник и понеслась на кухню, чтобы поставить на газ. Я была рада, что им понравилось в нашей комнате, и не переставала улыбаться.

– Господи, а про нее-то мы и забыли совсем! – всплеснула руками тетка, когда я вошла с чайником, из которого валил пар. – С ней-то что делать? Она где будет?

Я растерянно улыбалась, стоя на пороге, ненужная, как горстка пыли, которую заматают в совок и выбрасывают.

Тетка, недовольно морщась, начала рушить только что созданную гармонию, чтобы найти место для меня. Из прихожей принесли кованный сундук, отданный соседкой, его поставили возле дверей, застелили свернутым покрывалом.

– Ну как, удобно? – раздраженно спросила тетка. Я послушно легла, железные боковины сундука впивались в ребра, но я только улыбалась, понимая, что не могу ничего ответить, кроме как: «Удобно! Очень удобно!».

Я спала на этом сундуке десять лет. Здесь, в тюремной больнице, у меня своя кровать, да еще с горой подушек. Это значит, что жизнь моя удалась.

Я долго и надсадно кашляю, подходит медсестра, убирает капельницу, делает укол. Наступает вечер, под потолком загорается желтая лампочка, а за окошком становится темным-темно, но я больше не хочу вглядываться в темноту.

Тетка меня не обижала, просто морщилась досадливо, когда я попадалась ей на глаза. По вечерам я сидела у соседки, которая отдала сундук, у нее и смастерила первую колоду, нарисовала лица дамам и королям. Даже сейчас, когда я больна, карты – единственное, что не падает у меня из рук, а ведь все остальное просто валится, я даже ложку

держу с трудом.

– Хотите, я вам погадаю? – спросила я как-то тетку, готовая влезть ей на колени, как маме, и достала колоду. Тетка подскочила, вырвала из рук карты: «Нельзя, кто тебя научил?». Она больно тряхнула меня за плечо: «Это азартные игры!»

– Отдали бы ее в кружок изо, – качала головой соседка. – Рисует больно хорошо.

– Она и полчаса на месте не усидит, – тетка махнула рукой. – И потом, – она понизила голос. – Смеется все время, я не знаю, что и думать, возможно, смерть матери, психологическая травма...

Но поздно, я уже разложила свои карты. Они легли послушно, будто предвещая тетке гладкую жизнь, но, конечно, наврали, они вообще великие обманщики. И я, глядя тетке прямо в глаза, затараторила: «К вам черная женщина придет. Вы ее прогоните, из последних сил, но прогоните. А потом придет белая, вы обрадуетесь, а будет еще хуже. Белая вас обнимет, отпускать не захочет, а вы будете тосковать да плакать, черную ждать. Скажите, все бы отдала, только бы ты, черная, вернулась. Но черная не вернется. Она гордая. Если ушла, то навсегда».

Я проговорила эти слова, они были чужие, не мои, это карты говорили с ней. Тетка побледнела, опасливо, как спящую змею, подцепила колоду мизинцем.

– Глупости говоришь, – она смешала карты. – Болтаешь

невесть что. А карты я выброшу, не игрушка.

Она выполнила свое обещание, изрезав колоду маникюрными ножницами. Я не спасала их, сидела в углу и улыбалась. Легче вены резать, в этом я скоро убедилась. Нет ничего проще, чем воткнуть лезвие бритвы и тянуть его вдоль пульсирующей жилки. Мои карты часто принимали удар, их рвали, резали, жгли и топтали, страшно представить, что им довелось пережить, но каждый раз воскресали из кучки пепла или обрывков. И когда тетка кромсала колоду, я улыбалась, потому что знала: им все нипочем.

Настает утро, я переворачиваюсь на бок, надеясь еще подремать. Но входит медсестра. Здесь с нами не церемонятся, медсестра появляется с шумом, я бы даже сказала, с грохотом. Она катит перед собой каталку со шприцами и склянками. Я разлепляю глаза и слежу, как она, громыхая, движется по проходу. Все на ней гремит и скрипит, как заржавленные доспехи. Эта медсестра воительница. Ей лучше сразу подчиниться – беспрекословно, как судьбе. Я сажусь на кровати, свешиваю ноги, покорно задрав рубаху. Игла входит в складку на теле, которую медсестра собирает ледяными пальцами. Я безоружна, слепа и нема. Мои карты спрятаны под подушкой, они молчат.

Я зажмуриваюсь, пока лекарство растекается по венам, притупляя боль. Вот так всю жизнь: с бритвы на иголку, с капельницы на шприц, а где душа успокоится? В казенном доме.

Держась за стену, я бреду на завтрак. Здесь все против меня – стены, окна, углы. Все норовят сбить с ног. Я в любом доме чужая, ничего удивительного, участь всех приживалок. И тюремная больничка ополчилась на меня, хотя могла пожалеть, хоть бы каплю сочувствия проявила. Нет, сегодня до столовой мне не дойти. Возвращаюсь и падаю на койку. На меня надвигается крышкой гроба потолок, я задыхаюсь на подушках, в недрах которых спрятана колода – моя горошина, мое секретное оружие. Придет время, и я начну им размахивать, но не сейчас, пока я гожусь только на то, чтобы дышать со свистом, закрыв глаза.

Сюда, в тюремную больничку, я попала, потому что убила человека. Почему убила? Должно быть, карты науськали, они ведь иногда такое мне шепчут по ночам, когда сон не идет! Я нарочно подкладываю много подушек, чтобы заглушить их змеиное шипение, но оно просачивается, как зловоние, заставляя меня вертеться, а каждое движение отзывается болью.

У него было все, чего лишили меня – и родной дом, и семья. Единственное, чего у него не было, это воображения. Он бы расхохотался, предложи ему такой обмен, а ведь сгубило его отсутствие фантазии, ничего больше. Будь у него чуть больше воображения, он бы успел спастись. Потому что я не скрывала желание убить его. Я не говорила об этом прямо, но это желание было написано у меня на лбу. И если бы он на мгновение задержал на мне взгляд, то спас бы себе

жизнь. Но беда в том, что он на меня не смотрел.

Мне подвернулось оружие – нож. Зарезать человека нетрудно. Думаете, женщина не справится? Уверяю вас, еще как справится, даже такая немощная, как я. Главное – не сомневаться. Надо ударить – сильно и резко, отменяя любые страхи. Так медсестра делает укол, вот сейчас, например, ой. У нее бесстрастное лицо, отрешенный взгляд, она, сощурившись, смотрит на шприц, щелкнув по нему пальцами, а потом, не глядя на меня, наносит удар, и готово дело, игла впиивается мне в бедро.

Вот еще правило – не смотрите на жертву. Только на нож. Стоит перевести взгляд на что-то другое, и вы дадите слабину. Помните, я рассказывала, как тетка резала колоду? Они визжали от боли, мои карты. Я чуть не бросилась им на вырубку. Поэтому отключите слух, если можете. У вас должно заложить уши, как при подъеме на большую высоту. И тогда все получится. Не вижу, не слышу, не чувствую. Вы наносите удар. Первый – он же последний. Смертельный.

Тем более он заслуживал смерти. Грязный извращенец однажды чуть не придушил меня веревкой, я ее сохранила на память, только не знаю, на какую. А его интерес к темным силам! Желание заглянуть в тайны судьбы! Во всем-то он видел игру, но погоди, судьба тебе не котенок. А я тем более.

В общежитии ему сказали, знаешь, у нас тут одна девочка гадает.

– Красивая? – спросил он, подняв бровки, он тогда пы-

тался отрастить мужественные брови, даже подкрашивал их, и они темными полосками выделялись на фарфоровом личике пупса.

– Не очень, – честно ответили ему, – зато гадает хорошо, всю правду скажет.

Вот он и пришел ко мне. За правдой, трижды ха-ха. Кто приходит к гадалке за правдой? Я первая рассмеюсь вам в лицо. К нам приходят только за одним – утешением. Иногда оно прикрыто любопытством или даже бравадой. Многие, особенно мужчины, хорохорятся и балагурят, пока я не выложу карты на стол, как дымящиеся стволы, из которых только что стреляли. Посмотрите мне в глаза, а я скажу, куда угодила пуля.

Войдя в комнату, он без спроса сел на мою койку, и мне пришлось пересесть на табурет. Мы оба отразились в зеркале у двери – розовощекий, отмытый до скрипа пупс и я – растрепанная, словно не додуманная до конца. Меня словно начали рисовать, а потом передумали и бросили, оставив брови вразлет, ноздри арабского скакуна, тонкий нос с горбинкой, а тело – ну простите, надоело, ручки – ножки – огуречик. Получилась человечек, то есть я.

Я подобрала ноги, одернула подол, – все платья на мне, кроме больничной робы, висели мешком на груди и натягивались на бедрах. Я ловко тасую колоду, живот колышется вслед за моими движениями, а закончив расклад, я уже упираюсь указательным пальцем ему в грудь, потому что он ле-

зет на меня, расстегивая брюки, даже не закрыв на защелку дверь, в казенном-то доме на казенную койку. Я намеренно упираюсь только пальцем, а не кулаком. Это такое слабое, такое ничтожное сопротивление, и оно, конечно, никогда не останавливает и быстро оказывается сломленным. Мой палец сгибается под его весом, он переворачивает меня, грубо схватив за плечи, и я утыкаюсь лицом в казенную проштампованную наволочку, вот как сейчас.

Как я уже говорила, несмотря на невинную наружность, он был извращенцем, и обычные соития ему быстро надоели. Он обхватывал железными пальцами мое горло и давил, пока у меня не темнело в глазах, кто еще позволит проделывать с собой такое? Я позволяла, а он морщился, застегивая ширинку: «Ты меня совсем не удивляешь». И добавлял: «А еще гадалка».

А чем удивить мужчину, когда у тебя ничего нет? Когда у тебя нет ни дома, ни койки, ни подушки, ты поневоле превращаешься в паучиху. Ты начинаешь старательно кружить вокруг жертвы, оплетать ее липкими нитями, вить кокон, скрепляя всем, что есть под рукой, слюной, слезами и кровью, лишь бы он никуда не делся. Ты должна как следует его замотать, чтобы ни дырочки, ни просвета.

Он наваливался на меня на казенной койке в общежитии и на диване в квартире, где жил с женой, сворачивая мне шею, а я подыгрывала, старалась изо всех сил, хрипела (тогда притворялась, сейчас нет). Кого может возбудить выва-

лившийся язык, багровое одутловатое лицо, вздущиеся вены на лбу? Я что-то не замечаю, что радую своим видом медсестер, когда устраиваю им подобное, причем не понарошку, а на самом деле.

Я вспоминаю, как в детстве прыгала по полу выстуженной квартиры, расчерченной оконными рамами на «классики». Так расчерчен пол в моей камере сейчас, светом от решетчатого окна, и свое я отпрыгала. Ты скачешь, задирая ноги повыше, но краем глаза видишь край поля – очерченное мелом пространство, где выведено кривыми буквами «Котел», вот туда-то я и попала.

Не получая от любовника ничего, кроме предложения влезть в петлю, я изображала предсмертные хрипы. Тянула шею до вздущихся жил, выгибалась дугой, извиваясь под его гладким как мыльница телом. Он женился, но я продолжала приходить к нему, – не потому, что любила. Мне нужно было продолжать к кому-то ходить, ведь я так и жила в общежитии, не имея ни угла, ни койки, вообще ничего своего, если не считать гадальной колоды.

Когда вам есть куда идти, это уже полдела. Пока его жена корчилась и стонала в родовом зале, пока она мучилась, тужась и багровея, чтобы родить его лягушонка, я ерзала под ее скользким мужем, тоже тужась и багровея, но не для того, чтобы родить, на это я не гожусь, бездомные не рожают, как не высиживают птенцов птицы, не свившие гнезда.

С годами мой любовник поскучнел, растерял пыл. Он жа-

ловался мне на жену, клал голову на колени, я смотрела на поредевшее темя, такое же розовое, как десять лет назад, когда он впервые навалился на меня на казенной койке, чуть не сломав выставленный в качестве защиты пальчик, как последний батальон.

Он стал занудлив и скуп, бубнил, что жена тратит много денег и плохо готовит, мясо как подошва. Он морщился, я бежала удивлять к плите – жарить и парить, но и здесь оказалась небольшая мастерица, тем более кухня общая, все не под рукой.

Зато там лежал нож, оставленный на краю стола. Моя ладонь легла на рукоятку, я схватила его как меч. Я взяла нож, чтобы разрубить путы, которые когда-то связывали нас. Разорвать когда-то сотканный мной кокон.

Честно говоря, это была моя вторая попытка. Первая – сразу после его женитьбы, когда я думала, что кокон можно расплести в одиночку. Наивная, я легла в ванну и полоснула руки бритвой. Я лежала пластом, как лежу сейчас, и чувствовала, как выходит из меня воздух. Я сдувалась, кружа возле берега, будто забытый резиновый круг, в единственной на все общежитие ванной, куда я умолила кастеляншу пустить меня, наплетя, будто врач прописал мне припарки на поясницу.

Я проваливалась под воду, мой толстый живот перестал подниматься и опадать, торча островком поверх воды, которая становилась не алой, как я ожидала, а бурой, будто

во мне текла не кровь, а болотная жижа. Кастелянша, которой я задурила голову припарками, решила наведаться сюда, забрать какие-то тряпки или ведра. Я очнулась от грохота, когда она бросила поклажу, сменные простыни и пододеяльники, и, взяв меня подмышки, вытащила на сушу, как полусдохшего кита, подстилая бесконечные погонные метры тряпья, которые я успевала залить кровью.

Почему медсестры, санитарки и кастелянши всегда появляются с таким грохотом, нарушая мой сон, что тогда, что сейчас? Они хватают меня за руки, хлещут по щекам и вырывают из неги небытия. Сколько раз я бы успела умереть, если бы не эти шумные создания с цепкими руками. Как жаль, что я не похожа на них. Они бы непременно ухватили моего мыльного пупса, выцарапали ему глаза и выковыряли нутро, а я только веревочку и сберегла, тоже мне память.

Кастелянша вытащила меня из ванны, пережала руки жгутом, свернутым из простыней, вызвала скорую, и все это она проделала ловко и быстро, нерасторопную не поставили бы такую должность, где чуть зевнешь, так недосчитаешься наволочки.

У меня не получилось разрезать кокон в тот раз, но это не значит, что я перестала пытаться. Он ни о чем не догадывался, когда я приторно улыбаясь, слушала его жалобы. И пока жена бросала ему на тарелку подгоревший кусок, я поступила так, как должна была поступить, увидев нож на краю стола – крепко сжала его в руке.

Думаете, это был мой козырной туз? О нет. Если вам достался козырной туз, он вряд ли доживет до конца игры. Самую могущественную карту сбрасывают в середине партии, отбиваясь от разномастных шестерок, и она уходит без триумфа, нелепо и бесславно. Я сжимала нож, зная, что игра закончена, не потому, что у меня козырь в рукаве, а потому что собралась опрокинуть стол, игру заканчивает не самая сильная карта, это я знала точно.

И занося над ним нож, я вспомнила расклад, сделанный в первую нашу встречу в общежитии. Все так и вышло, в головах туз пик, меч острием вниз, пронзает пополам, разрывая вену, а может быть, и девственную плеву, или что там еще во мне он разорвал, ой, подождите.

Я задыхаюсь, в горле булькает. Там собрался и разросся опухолью накопленный за все годы смех, комок слизи, который я так не смогла ни выплакать, ни откашлять. Я жму на кнопку над изголовьем койки, ко мне должны подойти. Да, я убийца, но они же врачи, они должны спасать, а я, может быть, впервые в жизни, решила спастись. Ишь чего захотела, дорога ложка к обеду.

Кто-то наверху хочет, чтобы я досмотрела фильм до конца, хотя я зажмуриваю глаза и жалобно угрожаю – еще чуть-чуть и я умру от страха, но мне все равно показывают эту картину: я, с неизменной улыбкой, которая приклеилась к моему лицу с того дня, когда тетка отобрала у меня дом, кромсаю его ножом.

Он сидел ко мне спиной, это было по-настоящему подлое нападение, трусливее не придумаешь, ножом в спину, и он упал лицом вниз, даже не успев понять, что убит. Первый удар был смертельным, в этом нет ничего мудреного, тут правило одно – чем глубже, тем надежнее. А последующие взмахи были лишними – дань моему темпераменту. Я махала ножом как кистью, широкими мазками вправо и влево, вдоль и поперек, забрызгав все вокруг, каракатица с лицом берсерка, раздувающая ноздри, полная торжества. Моя тога победительницы еще не превратилась в арестантскую робу. Я скинула с шеи удавку, которую он на меня надел, и гордо подняла голову, сверкая глазами.

Тревожная кнопка, похоже, не работает, потому что я не слышу шума шагов, я вообще ничего не слышу, меня словно завернули в вату, я подношу руки к лицу, срывая какие-то хлопья и волокна, которые лезут в ноздри и рот, мешая дышать, и захожусь в кашле.

У моей койки стоят две женщины, те самые, что я нагадала тетке. Я улыбаюсь им как старым знакомым, ведь я видела их раньше: они сидели рядышком, прижавшись друг к другу, будто робкие подружки, у кровати матери – белая и черная. Я хочу проявить гостеприимство, но как, спрашивается, может проявить гостеприимство женщина, которая почти не дышит? Конечно, она только и может, что улыбнуться, и я расплываюсь в улыбке.

На самом деле я довольна, что звонок не работает или

у меня нет сил на него нажать. Я, пожалуй, не хочу, чтобы медсестра опять помешала нашему разговору иголками, шприцами и капельницами.

Я хорошо их знаю – черную и белую. Раньше я верила, что черную можно прогнать, сделать так, чтобы она ушла навсегда и больше не вернулась. Я считала ее гордой. Теперь я знаю, что по-настоящему гордых женщин не бывает, а она вернется, достаточно поманить ее, вот как я сейчас, согнутым пальцем. Я вижу, как она, оттесняя белую, подходит ближе. Белая отступает, а вместе с ней замирает боль. Я уже не кашляю и дышу свободно, лицо мое светлеет. Черная приближается, она заслоняет все – и палату, и классики, и надпись «Котел», куда я неуклюже заскочила, и сундук с железными обручами. Я судорожно вспоминаю, что из этого можно назвать своим, пожалуй, только карты, колоду, которую прячу под горой подушек, как Кощееву смерть.

Черная женщина запускает руку глубоко – под подушки, в мое зловонное нутро убийцы, она знает мой секрет, конечно, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла. Она сейчас спорет мне брюхо и надломит, наконец, ржавый кончик, который всю жизнь так царапал меня изнутри. Ее лицо все ближе, и я с облегчением замечаю, что она вовсе не так зла, как белая, с ее пальцами-клещами, скрежещущей дыбой и пыточной удавкой. Но я делаю последний жалкий жест, собрав все силы, упираюсь пальцем в ее грудь. Мой палец сгибается под ее весом, это так смешно, что я улыбаюсь напоследок –

самой искренней из улыбок, не через силу и слезы, а сквозь смерть.